

## Об учебе на филфаке и работе переводчиком с итальянского в Баку

<https://oralhistory.ru/talks/orh-2226>

🎙 18 февраля 2018

### Собеседник

Котрелев Николай Всеволодович

### Ведущий

Котрелев Петр Тихонович

### Дата записи

Беседа записана 18 февраля 2018 и опубликована 29 марта 2023.

### Введение

В третьей и заключительной беседе филолог и переводчик Николай Котрелев рассказывает о своей учебе на романо-германском отделении филологического факультета МГУ в 1960-е годы. После того как в связи с «неблагонадежностью» Котрелев был отчислен с факультета, он отправился работать переводчиком в Баку. Именно в Баку молодой ученый погрузился в биографию и творчество Вячеслава Иванова, став одним из последовательных и преданных толкователей поэта. По возвращении в Москву Котрелев начал работать в лингвистической лаборатории кафедры ОСиПЛ, где занимался созданием системы голосовых команд для военных нужд. Восстановившись на филологическом факультете, он защитил диплом, но поступить в аспирантуру не смог, также, по-видимому, в связи с отметкой о «неблагонадежности».

*Беседа подготовлена и опубликована при поддержке БФСО «Дар» в рамках программы документирования истории образования в России.*

*В связи с техническим браком беседа публикуется только в аудиозаписи.*

**Петр Тихонович Котрелев:** Сейчас скажу, что сегодня 18 февраля, третья беседа с Николаем Всеволодовичем Котрелевым, ведет ее... спрашивает его внук, Петр Тихонович Котрелев. И сегодня, бабушка, я хочу поговорить немножко по-другому, в сравнении с тем, как проходили наши предыдущие беседы. В прошлых, если ты помнишь, ты сначала вспоминал про свое детство, потом какие-то были вставки... как бы сказать?.. ретроспективные, с высоты твоих мудрых седин, а сегодня я хотел бы попросить, чтобы мы поиграли в такое состояние, когда ты вспоминаешь себя... Ну, например, окончание университета, когда тебе было двадцать два, двадцать три, двадцать четыре... Сначала расскажи, пожалуйста, потому что я не знаю, какой у тебя был диплом, что было с тобой на последних курсах, и потом перейдем к тому, как ты поехал в Баку, как вообще все завершилось, то есть к этому у меня будет специальный вопрос общесовременный, для беседы сегодняшней. Начни, пожалуйста, с твоих последних курсов и твоих интересов исследовательских.

**Николай Всеволодович Котрелев:** Университет, Петр Тихонович, если я верно помню, я закончил в 68-м году...

**П. К.:** Но в Баку ты поехал в 63-м.

**Н. К.:** А в Баку я поехал в 63-м.

## Учеба в Университете

**П. К.:** Ты поехал до университета в Баку?

**Н. К.:** Во время университета или вместо.

**П. К.:** А как это вышло так?

**Н. К.:** Да очень просто. Во-первых, учился я неплохо и, в общем, сдавал всегда на пятерки, но было два обстоятельства. Одно, которого я не могу усмотреть документально, а другое, которое я помню и без всяких документов. Документально я всегда боялся с того момента, как я поступал в университет, это была очень смутная тревога, но в тот момент, когда я получил повестку, приглашавшую меня в КГБ на разговор, именно повестку, в тот день... накануне или за два дня до моего последнего вступительного экзамена. После этого я начал всерьез опасаться за свою университетскую судьбу. А когда я ехал 1 сентября 60-го года в университет, я купил газету «Известия», в которой было написано, что я один из тех бездельников, которые карабкаются на Парнас.

**П. К.:** В смысле у Маяковского?

**Н. К.:** Нет, нет, ну, Маяковского... про Маяковку, кажется, не было фельетонов нет, это был фельетонкакой-то противнейшей, поганой бабы... А нет! Его подписал некто Иващенко, в общем, был у них такой набор авторов, я никогда не интересовался, кто они, но, естественно, другие архивисты знают. Это был фельетон<sup>1</sup>, посвященный Алику Гинзбургу и «Синтаксису», который Алик издавал, за что его и посадили на два года, но, естественно, «Синтаксис», кажется, не фигурировал даже на суде. Посадили его за подделку документов, за некоего Сашу Юдина, безуспешно пытавшегося поступить в актеры, или не пытавшегося, а понимающего, что документы даже не принимают, поскольку у него не было аттестата зрелости (*усмехается*). Он был друг дома, завсегда. Алик решил сдать экзамены на аттестат зрелости: в его бумажку вклеил свою фотографию, за что был... что, разумеется, мгновенно стало известно органам, и Алик был взят с поличным, что и говорит, что человек, пускающий сколько-нибудь против власти, публично... Не вор, и вор должен быть в твердой памяти, что «ну, как веревочка ни вейся, все кончик должен быть у ней», как в одной песне на эту тему поется. Но тем паче должен быть общественный деятель в полном сознании, что он должен быть чист, и на месте Навального никогда не должен вступать, ну, замазываться где-то, то значит всё — и сиди, политическая карьера кончилась. Конечно, какого-нибудь Стросс-Кана<sup>2</sup> и иначе замажут, когда он становится не нужен, но, в принципе, конечно, политический деятель должен быть безупречен. А то, что ему могут подsunуть какую-то... сучку безобразного вида, ну, тут не упасешься. Знать бы, где соломку потрусить. Ну, точно также попался человек, не менее почтенный, чем Алик Гинзбург, Сеня Рогинский, его посадили уже на четыре, кажется, года за то, что он принес... ну, формально поддельное отношение в архив, по крайней мере, так я помню, что мне было известно.

<sup>1</sup> Иващенко Ю. Бездельники карабкаются на парнас // «Известия», 1960. 2 сентября // <https://gridassov.livejournal.com/71393.html>

<sup>2</sup> Намек на отставку Доминика Стросс-Кана с поста директора-распорядителя Международного валютного фонда в результате обвинения в сексуальных домогательствах в 2011 г.

Ну вот. Были какие-то еще всякие обстоятельства, были неформальные столкновения с комсомольской организацией, какие-то, с их точки зрения, вызывающее поведение на картошке, на которую нас возили зачем-то, какие-то стихи читал, Мандельштама, Пастернака, так что до сих пор помню свирепый, ненавидящий взгляд некоего Александра Мулярчика, потом специалиста по американской литературе, при отъезде с картошки. Не помню его слов, говорил ли он «мы этого не забудем» или «ты гад», не помню, в общем... Поведение мое, естественно, было вызывающее: какая на фиг картошка, когда можно и выпить, и стихи почитать — в общем, вызывающее поведение. И это все тянулось, и... Но все было бы... было еще одно обстоятельство, о котором я не хочу говорить, которое тоже нависало... Ну, в общем, ничего, но в то же время я понимал, что я верчусь все время в кругах, которые не нравятся по разным причинам органам, поэтому... Ну, в то же время я был совершенно беспечный, никакого поведения я не менял, на лекции — «не учите меня!» — практически не ходил, даже на итальянский язык почти не ходил, потому что учить итальянский язык было невозможно: в нашей группе было четверо, не то пятеро, русских и пятеро, может, шестеро китайцев, которые по-русски еле-еле что-то понимали, приехали, не владея европейской фонетикой: для них *brupo* и *prugna* были совершенно одинаковые звуковые комплексы, они их не различали. Поэтому «коричневое» и «слива» для них было трудно разделить, тем более, что это все равно все шло еще через русский язык, и, в общем, успехи в итальянском языке были крайне медленны и трудны, просто усидеть на уроке, когда китайские товарищи (как я там оказался, могу рассказать, для памяти поколений), это было мучительно: и в сон клонило, и... Просто одуревашь, когда человек учится при тебе фонетике, а не языку. Языку я научился... Разумеется, все-таки Татьяна Борисовна Арисова заложила какие-то основы, которые позволили мне овладеть языком, но овладел я им не в университете. Мой итальянский язык не университетский, а именно практики. Во-первых, лето 61-го года я работал с месяц, скажем, где-то, может, полтора, гидом-переводчиком с итальянцами — это что-то дало, потом я работал в Баку переводчиком почти год,

потом я работал почти год в Гродно переводчиком... В Баку это было бессмысленно, то есть я набрался лексики, прежде всего медицинской, и какие-то обороты усвоил, поскольку я должен был переводить медицинские лекции студентам из Сомали, значит, я что-то такое выучил, большую часть я, наверное, забыл, но медицинскую лексику, в основном, скорее помню, чем нет. Опыт жизни был интересный, но язык окончательно, видимо, наладился от двух занятий: в Гродно я уже жил, я не познакомился ни с кем, кроме итальянской довольно большой коммуны инженеров и техников, с которыми я работал, ни с одним местным человеком я не завел никаких за семь-восемь месяцев, что я там был, никаких знакомств... Кроме, разве, одного или двух гэбшников, которые сами со мной завели знакомство, а не я с ними. Вот. А меня вполне устраивало то, что...

**П. К.:** А что это были за поездки? Это какие-то распределительные или ты сам?

**Н. К.:** Нет, это было совсем другое. Я же об этом говорю. Вот в Гродно я жил уже погруженный в итальянскую среду, а окончательно произошел набор, когда я переводил кино в течение лет десяти, с 65-го, может, по 80-й, даже пятнадцать, ну, в общем, лет десять-пятнадцать, я переводил синхронно кино, и я довольно много или даже очень много читал по-итальянски, поэтому у меня образовался довольно странный итальянский язык, не... теперь он ухудшается, кажется, к сожалению, но не язык общения с сегодняшними итальянцами... Кто-то из итальянских профессоров говорил: «какая странная смесь сегодняшнего языка с XVI веком». (Усмехается.) Причем именно я читал XIV-й, XV-й, XVI-й век и почти не читал или практически даже не читал... к сожалению, XVIII-й не читал (XIX-й можно было и не читать и XX-й), потом я читал много XX-го, но это я уже владел языком хорошо.

Так вот, ощущение зыбкости, неустойчивости моего положения в университете, оно меня не покидало. Но не в этом дело. Ничего я не менял, я в это время уже начал проявлять... осуществлять свои задатки, вероятно, и следовать своим интересам. Поступал я в университет наивным глупцом, что я буду заниматься (я на русское отделение поступал), что я буду заниматься Ходасевичем, я тогда был оглушен Владиславом Фелициановичем и думал: «Во! Это я там буду...», — а оказалось, что я на итальянском отделении, особая история... (Очень такой анекдот, характерный, вероятно, для жизни советского университета.) И я занимался средневековой литературой. Я читал итальянских поэтов ранних, но курсовую я решил писать по провансальским трубадурам или, может быть, еще по итальянским... Сейчас не помню, во всяком случае, полгода у меня ушло на собиранье библиографии. Библиография у меня всегда бывает огромная, и я всегда начинаю со сбора библиографии, так что у меня никогда практически не остается до сих пор времени на писание, при том что я не библиограф, как бывают, вот, призванные библиографы, которые доводят именно свой библиографический труд до совершенства, до хорошего уровня, которые печатают библиографии, хотя одна библиография у меня напечатана, но она безобразная, потому что мне не дали времени ее доработать, — это библиография Вячеслава Иванова, совсем сравнительно недавно сделанная. Я мог бы сделать и великолепную библиографию по Вячеславу Иванову, но мне нужно в том ритме, который никак не сопрягается с планами и отчетами.



**Я не ориентирован ни в одной работе на завтра — конечный результат.**

Для меня освободиться от работы — это значит забыть про нее, а она будет так лежать незаконченная, поскольку я работаю... в этом смысле я не профессионал. Мне безразлично, будет эта работа закончена или нет. Это дурной пример, но я ничего с собой поделывать не мог, и тогдашний, так сказать, кумир девочек, Константин Валерьянович Цуринов, не мог мне зачесть курсовую. Скорее всего, вероятно, и мог бы, потому что такой библиографии по... кажется, все-таки по провансальцам, ни один заурядстудент не мог бы представить и собрать.

Но он был человек, безусловно сломленный жизнью, с какими-то амбициями, много знавший, но лепившей какую-то к тому времени уже неинтересную марксовую университетскую... хотя в каких-то случаях мог посоветовать, и читать... он испанист был по, так сказать, главному роду деятельности, знал много вокруг, но очень... не как Александр Веселовский, а так... слушать его лекции было бесполезно и безразлично, потому что это все были какие-то... то заочные уточнения к Энгельсу, то наоборот — ударом Энгельсом по нелюбимым им коллегам, там по Випперу, там еще кому-то, но, в общем, это было... но в целом он был... и для студентов, тех, кто в эту область смотрел, был гораздо приятнее, чем какой-нибудь Самарин. В общем, западное... на русском отделении, может, что-то такое и было, но и то выживалось, но западная филология была разрушена абсолютно. На классическом можно было выучиться, хотя не было особенно ярких профессоров, но Гаспаров и Аверинцев выучились и многие другие. Традиция поддерживалась, не погибла, и Шичалин, и многие другие... Но на романо-германском — нет, нет... полная пустота.

Кажется, я никогда тоже этим не занимался, выяснением, в общем, окончательно добил университетскую западную филологию Роман Михайлович Самарин, противное существо. Но вот он был из всех наиболее живым, знающим, он был необычайно памятьлив, многочитающим, владеющим языками и парадоксальным образом вышел из харьковской среды хорошим филологом старой выучки, и академик Белецкий, вполне, так сказать, приличный ученый, был ему что-то вроде посаженного отца или еще что-то такое. То есть оттуда перебрался в Москву, и здесь начал чуть ли даже не доносами убирать с кафедры конкурентов, приличных людей, так что никого на кафедре не оставалось.

Если на античной кафедре можно было получать основное — язык и академические знания, то на зарубежке это было невозможно. Ну, вот, что-то такое сам я делал или покойный Юра Архипов, германист, который... Саша Михайлов... но это заслуги собственные, Саша Михайлов — замечательный германист, но это все собственное. Юрины Архиповы, Юркины знания все базировались на том, что он сам читал пудами по-немецки, прекрасно знал язык, и на слух, и глазами и так далее, но заслуги университета в этом не было никакой. Так вот.

И вряд ли бы само по себе... ну, не сдать курсовую — еще чего-то такое, но тут уже поставили вопрос: курсовой нет, то надо отчислять. Цуринов активно не защищал меня. Он мог бы вообще до этого не доводить, поэтому, я думаю, что там все-таки накопился за мной какой-то груз, и как только трещинка появилась, то ею решили воспользоваться и меня выпихнуть. Я даже ходил жаловаться и просить помощи у ректора Петровского, который иногда в таких случаях помогал, но не помогло. Но все-таки времена были совсем не каннибальские, и мой соученик по итальянской группе, Женя Симонов, который, может

быть, предыдущий год и пропустил, поскольку его, может быть... не помню, как сейчас, как он сам в первый раз попал в Баку, и его порекомендовали переводчиком в Баку на медицинские курсы для средних медработников сомалийских и... Меня не университет туда послал, позвал, а меня туда позвал именно Женя Симонов. Говорит: «Да вот, сейчас там опять зовут, им нужны люди, я поеду, и им еще человек нужен. Поедем!» И я поехал в Баку.

Все равно из университета выключили, родителям я не докладывал, что меня выключили, чтобы не огорчать бедных родителей. Поехал — и поехал. Мама, кажется, или знала, или догадывалась — очень переживала. Отец, может быть, и не знал, не знаю. Поехал работать и работал... Тоже замечательная история. А когда вернулся, то... Вот, я работал... с честью работал, надо меня восстанавливать, был всегда такой процесс, что люди, чем-то провинившиеся, восстанавливаются в прежнем звании. Третий у меня курс или второй был? Третий, наверное, все-таки... наверное, второй... не помню... 60-й — 61-й, 61-й — 62-й... значит, где-то... это был, видимо, все-таки третий курс, начало... третий курс. Я прихожу, все тот же Михаил Никитич Зогуля, замдекана: «Да-да, подумаем. Надо. Вот что: белорусское правительство обращается к нам: им нужны переводчики. Вот вы и езжайте, а потом посмотрим».

Я не мог ему сказать: «Никуда я не поеду, ты меня восстанови, я буду ходить на занятия». И я поехал в Гродно. Или может быть, я вернулся из Баку ранней весной, пока я ходил к Михаилу Никитичу... в общем, я летом оказался в Гродно, где совсем другой опыт жизненный, но зато окреп язык, потому что от сомалийских негров языку нельзя было научиться, они его сами знали хуже меня, но все-таки что-то понимали или делали вид, что понимают, во всяком случае... не знаю.

А в Гродно были нормальные итальянцы, инженеры. Жизнь была веселая, зарплата у меня была хорошая, в общем, лучше другую жизнь вести. Я все время в Москву мотался (по долгу службы). И когда я вернулся, опять-таки не выдержавши... можно было и дольше работать, хорошую зарплату получать, но хотелось в Москву все-таки.

Так вот. И... я поехал в Гродно, где жил и работал, и вернулся опять-таки где-то зимой, кажется, в начале следующего... к весне, месяцев семь я там пробыл, и пошел к Михаилу Никитичу Зогуле. Он говорит: «Ну вот, да, хорошо...» А я даже с перепугу, родителей ради, в комсомол вступил, чтобы меня назад в университет взяли. Когда сдавал в университет, я не был комсомольцем. Потом я видел свое приемное дело, там было жирным, синим что ли, карандашом, или красным, подчеркнuto «не комсомолец». *(Усмехается.)* Учитывали. «...Да-да, ну, сейчас год кончается, вот на будущий год приходи. А сейчас пока гуляй».

Но я гулять не стал. Я поступил тут же на работу, именно в университет. А может быть, он... нет... не помню. Это было хорошо, что я поступил в университет: и работа была интересная, и лаборатория, которой ОСиПЛ командовал, забыл, как называется, Златоустова там покойная была начальницей... Работа сама по себе была для меня неинтересная, потому что интереса к лингвистике в этом смысле у меня не было, но она не требовала особенно много времени, оставляла много времени на молодую жизнь и на хождение в библиотеку. В библиотеку я все равно ходил и уже ходил в архив, еще перед Баку я начал ходить в РГАЛИ.

**П. К.:** Зачем ты туда начал ходить?

**Н. К.:** Именно в связи, странным образом, с итальянистскими своими интересами. Флажком махнул: «Иди в РГАЛИ» Габриэль Гаврилович Суперфин, за что я ему и благодарен, который в это время вообще еще нигде не учился, только что школу кончил или что-то вроде этого, поступал в Московский университет или еще даже и не поступал, в общем, Гарик. А я ходил... Первое, во что, по малому знанию, что мне и зачем нужно и не так просто было в РГАЛИ что-то такое соображать — меня никто не учил ничему, потому что еще на русском отделении были семинары по древнерусской литературе, где можно было чему-то выучиться, практической филологии. У нас ничего подобного не было тогда. Я и покойный Сережа Высоцкий заставили завкафедры романских языков, Будагова, такая малосимпатичная (его бы только в гляцевых журналах печатать) фигура, открыть семинарские занятия по провансальской литературе и языку провансальскому. Преимущество его было только в том, хотя он выученик Шишмарева, в высшей степени грамотного, именно провинциалиста (по тогдашней терминологии), может быть, первого из двух, мне памятных провансалистов в России. Была еще Лот-Бородина, но она оказалась замужем за Лотом, крупным романистом, в смысле филологом-романистом, а не сочинителем романов, во Франции, Шишмарев Владимир Федорович был именно прекрасно подготовленный романист, с центром... По крайней мере докторская, серьезная докторская, французская докторская и публикация текстов по провансалистике. Так вот, Наталья Леонидовна Трауберг, которая училась в Петербурге, в Ленинграде именно, на шишмаревской кафедре, говорила, что Шишмарев все этого Будагова куда-то толкал вверх.



**Вот это вот катастрофа науки, когда очевидного хлыща нужно было куда-то толкать.**

Ну, он потом перебрался в Москву и был здесь завкафедрой. Краснобай, красавчик, себя высочайшим образом носивший, еще по старой петербургской традиции, которую успел ухватить, в темном костюме, непременно с галстуком, выбритый, вычищенный, вымытая физиономия... Так вот, его преимущество было перед нами с Сережей только в том, что учебники провансальского у нас были одинаковые, немецкие, Ломача...

Так вот, преимущество Рубена Александровича заключалось не в том, что он сколько-нибудь знал провансальский язык... ну конечно, он был все-таки подготовленным более-менее романистом, на уровне корнесловия, общего представления о системе склонения или там в старом были некоторые, так сказать, остатки падежной системы или спряжения. А книжка-то была немецкая, и словарь в конце — провансальско-немецкий. Так он немецкий знал, а мы с Сережей не знали *(усмехается)*, поэтому на третьем, кажется, занятии все это прекратилось: и ему было неинтересно, а нам стало неинтересно. К чему я вспомнил про Будагова? Как бы то ни было, но после работы в лаборатории...

**О работе в лаборатории ОСиПЛ**

П. К.: А что ты делал в этой лаборатории?

Н. К.: Что я делал? Об этом написано в журнале «Советское языкознание» или, как он теперь, наверное, называется — просто «Языкознание»? Несколько лет назад, может, лет десять-пятнадцать я случайно наткнулся, это был перст. Поверь, что на некоторые вещи, на которые человек никак даже рассчитывать не может, но ангелы его тыкают. Я не открываю... до той поры лет двадцать я не открывал журнал «Вопросы языкознания», ни после этого, но почему-то где-то я открыл журнал «Вопросы языкознания». Или, может быть, это был все-таки не журнал, а какой-то сборник, где были лингвистические публикации, где были как раз записки о работах, ведшихся в этой лаборатории? Она была в Николаевском здании, в подвале.

П. К.: Николаевское здание — это что? В смысле университета?

Н. К.: Ну, естественно.

П. К.: Я никогда не слышал этого наименования.

Н. К.: Так ты поживи с мое. (*Усмехается.*) Николаевское здание — это где Ломоносов сидит. Оно выстроено при Николае Павловиче. А первое — это старое здание, XVIII век. Там, где Татьянинская церковь на углу — это Николаевское здание, а левее от него — Библиотека, которое строилось как библиотека, и на свое время она была очень даже распрямленная библиотека, в ней были лифты подъемные для книг, они даже при мне еще действовали, хорошая расстановка систематическая... Библиотека была на очень хорошем уровне, скажем, вот на 917-й год. Потом она, как все русские библиотеки, стала хиреть и дошла... не буду играть словами... ну вот... до полного очумления.

Вот, я прочел то, о чем я догадывался, мне не говорили зачем, но это было, видимо, тайное задание, хотя лаборатория не была секретной, никто... я, во всяком случае, не подписывал документа о допуске к секретам, хотя во всех... чем секретнее было заведение, тем больше был контроль. Но это была проблема или реальная... В любом случае, заказанная министерством обороны — управление голосом орудиями, боевой техникой, вспомогательной техникой, возможно и людьми. Нужно было создать искусственно звучащий язык.

Я у них был диктором, благодаря... Сейчас, может быть, это уже не так четко, у меня от природы была хорошая дикция и хороший тембр голоса. Они записывали меня на магнитофоны, потом выстраивалась, каким образом, не знаю, кривая голосовых колебаний и вырезались соответствующие куски, которые... это было «а», доударное, послеударное, ударное, то есть все те представления о фонемах, которые... Все-таки фонемы — это некоторый конструкт, содержащийся в каждом реальном звуке, но не исчерпывающий, и нужно было создать тот голос искусственный, научиться комбинировать из искусственно вычлененных или созданных, синтезированных фонем собирать команды, я не знаю там: «Огонь!» или «Бей врага!», или что-то такое. (*Усмехается.*)

Даже я сам участвовал в разделении уже таких фотопленок длинных: разрезать, выклеивать, чтобы они соответствовали тому чтению, которое было текстом как бы двухрядные: это кривые, а под ними соответствующие звуки из того, что я читал. Дальше меня и не пускали, и не нужно было меня пускать, потому что я был неграмотен. Руководила Златоустова там, еще не начальником, был Кибрик, там работал Сандро Кодзасов, то есть очень приличные лингвисты. Сандро и Кибрик были молоды, они, может быть, даже еще и доцентами не были, но кандидаты наук, наверное, молодые уже были. А Златоустова была уже более продвинутой. Приходил Петр Саввич Кузнецов, еще занимавшийся всеми этими проблемами, сходными, в начале 20-х годов: на рентгене он записывал, как сам говорил, поэтому у него, кажется, были даже обожженные рентгеном какие-то ткани. В общем, это было настоящее, но я дальше, чем вот в дикторскую или резать пленки, в этой области не пошел, но я потом прочел об этом, случайно, и больше никогда не читал. Фамилия моя не называлась. Кто-то, кажется, еще диктовал, но я даже не пересекался с другими голосами, но работа шла, и я... Ну, и когда уже подошло дело к 1 сентября, тем более я тут, в университете, работаю, Михаил Никитич меня взял назад в университет.

## Возвращение в университет

Ну, тут уж я ни на какие занятия не ходил, безусловно, ну, может, на Карулина, может быть, и надо ходить, дисциплины ради, я сейчас не помню. Карулин был выпускник Института военных переводчиков, который учился у Натальи Леонидовны Трауберг, мир очень тесно связан. Естественно, он должен был стать шпионом, но он мгновенно провалился в Италии, как и почему — я не знаю, и был послан к нам лектором... Да, это уже было в это время, да... лектором итальянского языка. Говорил он по-итальянски, как я понимал уже тогда, с сильнейшим акцентом, у него, видимо, не было природного дара имитации. Но, разумеется, язык он знал достаточно хорошо. Мы с ним читали газету «Унита», но... это тоже расширяло мой лексический запас, но это было мне безразлично, и... к нему я все-таки ходил. Вскоре он просто стал заместителем декана по работе с иностранцами и долго таковым оставался. И когда через много лет я вдруг с ним в коридоре встретился, он был рад. Но это обычное человеческое. У меня с ним не было столкновений, но и никакой близости.

” На остальные лекции я уже не ходил, потому что мне это было безразлично, я уже понимал, что тому, что нужно, я выучился.

П. К.: Заговаривая ракеты.

Н. К. (*усмехается*): Да. Нет-нет, я еще ходил, просто из уважения, вероятно, на скучные, увы, лекции Нины Генриховны Елиной. Ну, во-первых, она читала итальянскую литературу, и нельзя было, наверное, не ходить, во-вторых, она была соученицей, университетской приятельницей, Померанца и Лесскиса, то есть она к этой группе не принадлежала, но она... как всегда, говорят, добрые знакомые, хорошие, у нее были хорошие отношения с Галей Людмирской-Муравьевой и прочее. К ней я ходил, потом мы очень мило в Иерусалиме общались. Но она была закрытый перепуганный человек, лекции ее были скорее скучные, работы ее по Данте скучные, но тем не менее работы честные. То, что она писала, она безусловно

все вычитывала.

Я у нее писал курсовую, видимо, за четвертый курс и, к сожалению, сделал большую ошибку. Курсовая была о строфике ранней итальянской поэзии, и если бы я не сделал этой ошибки, я бы ее сейчас даже мог опубликовать, хотя, кажется, появились какие-то работы, может быть, ее перекрывающие или совпадающие с ней, но на тот момент ничего подобного в итальянской филологии не было — это эволюция итальянской канцони от Сицилийской школы, так сказать, более близкой к провансальцам, длиннющие строфы, запутанные и метрически, и рифмически к классической канцоне у Петрарки.

Это было построено на статистике, но я сделал одну принципиальную ошибку: тот свод этого материала, который был доступен без специальных каких-нибудь изысканий забытых публикаций, я взял как раз из сицилийцев Данте и Петрарку, кажется, я просчитал целиком, во всяком случае, *dolce stile nuovo*, это дантовский круг, и Данте я просчитал целиком. А из сицилийцев я взял несколько канцон на глаз, так как все они более или менее одинаковые, но для серьезной работы, чтобы ее опубликовать... Тогда ее, может быть, и можно было даже и где-то опубликовать, но у меня не было никаких знакомств, надо было... Хотя я был с Гаспаровым знаком, еще с кем-то, но у меня никогда не было идеи: написал — пойдешь куда-нибудь ее приткни, пробей, еще чего-нибудь. Работа была хорошая.

А диплом я писал тоже... Нина Генриховна к этому относилась очень поощрительно, сама она этого, в общем, не понимала, но она понимала, что это честно сделано, большая работа, и, так сказать, «О, да-да, хорошо, хорошо, хорошо», — в меру своего понимания и непонимания, она одобряла. А диплом я писал тоже у нее, и тоже можно было опубликовать, но с публикацией этого материала получилось фиаско, очень характерное для эпохи и опять-таки выдающее во мне нежелание... отсутствие пафоса: вот я сделал и надо куда-то это приткнуть. Можно было, вероятно, и это, но хотя это было трудно. Так я недавно перечитал, наткнувшись на нее где-то в папках, — это стилистически, так сказать, настолько высокопарно и красиво, что, как говорил Левинтон про другую мою работу, «хоть под гитару пой», вот, и вместо, так сказать, семиотической сухости и... а это было как раз неприятно мне, пафос семиотических штудий был неинтересен, а тут был...

П. К.: Что это за пафос семиотических штудий?

Н. К.: Какая-то как бы научность и еще что-то такое. Мне... может быть, будет понятно из рассказа о дипломной работе «Латинские вставки в „Новой жизни“ Данте».

П. К.: Так это называлось?

Н. К.: Что-то вроде этого. «Новая жизнь» — это молодое произведение Данте Алигьери, сборник его сонетов и канцон, посвященных Беатриче, соединенных в единое повествование, прозаическими скобами сшитое. Собственно говоря, <нрзб> сейчас я, может быть стал и про это писать: зачем проза, зачем стихи, хотя про это писали уже и тогда, но про латинские вставки... я добросовестный человек, я собрал все, что было толкового написано, в том числе замечательным англо-американцем таким... У меня было лучше, безусловно лучше, на тот момент, на 66-й — 7-й год, не помню, у меня было лучше и глубже, но написано действительно очень возвышенно.

Дело в том, что я доказывал, что книга, вообще говоря, написана не на итальянском языке, а настоящая книга написана на латыни, потому что они прошивают латинские вставки. Теперь я уж не очень даже помню, но вот, если не ошибаюсь, что писал Николай Котрелев в 67-м году, что подлинный текст написан на сакральном языке, а то, что по внешности он на народном языке, это, так сказать, снисходя к невозможности коммуникативной только задачи, и что подлинный текст выше, чем итальянский гораздо. Теперь я, может быть, добавил бы (вдруг сейчас мне приходит в голову), что ему может соответствовать только поэтический, то есть стихотворный текст, ну, я не знаю.

Вот. Я написал, мне Нина Генриховна поставила пятерку, на защите диплома меня рекомендовали в аспирантуру, хотя я (я не помню, в какой последовательности) тройку я с трудом получил по коммунизму на госэкзамене. Был госэкзамен по коммунизму, научному или какому-то, я уже готов был получить двойку, потому что произошло такое: когда я пришел сдавать, весь коридор перед аудиторией круглой поточной в старом здании, где когда-то архимандрит помещался (я видел планы старого университета, там намечена круглая такая комната: «архимандрит (имя не помню) имярек помещается»). (Усмехается.)

И тут, значит, шел бардак по наученному коммунизму. И я, в коридор когда вошел, коридор дрожал, с изменившимся лицом, потому что явился какой-то каннибал, людоед из кафедры этих самых... КПСС, она была, кажется, межфакультетская илчото-то вроде этого, и было уже там, скажем, десять неудов, что на госэкзаменах для факультета фантастика, позор, личные, так сказать, дела, разбирательства. Как они вышли из этого положения, они уже реально стояли.

Я вошел, взял билет, сел за стол, наковырял на бумажке. И тут как раз освобождается стул, а мне еще надо писать, я только-только еще начинал, еще начинаю... Освобождается стул перед людоедом-коммунистом, и инспекторша курса, Мария Лаврентьевна, что ли, ее звали: «Котрелев, идите отвечать, иди-иди отвечать!» — «Мария Ивановна, я еще не готов». — «Ты все заешь, иди!» (Усмехается.) Я, значит... Я не понимал, я даже не знал, к кому я иду, я не успел расспросить, кто, что там, чего, но оказалось, что меня бросили на амбразуру, и через некоторое время я стал понимать, что я амбразуру не закрыл. «Неуд» — это значит на год остаешься до следующего экзамена. И тут я увидел, что такое честь факультета. К нему стали склоняться из-за спины уважаемые профессора, которые меня не знали: «Да что вы, это такой студент!» — я слышу... Неустроев, по-моему, был, в общем...

П. К.: Как это было? То есть он сидел за партой, а за ним стояли...

Н. К.: Нет, это был длинный стол, за которым сидели экзаменаторы, а перед ним были столы, где готовились.



И они, по сути дела, видимо, вымолили «тройку» для Котрелева. Это, кажется, была единственная тройка за все мои годы в университете.

Вот. Меня рекомендовали в аспирантуру, председательствовал, кажется, лично Роман Михайлович Самарин на моей защите (по сути, это кафедральное действие): «Да-да, хорошо, прекрасно».

Дней через пять-шесть я его встретил в коридоре, говорю: «Роман Михайлович, а что надо сделать, чтобы в аспирантуру?» «А мы вас не берем, — сказал Роман Михайлович». Я как-то упавши: «Как не берете?» — «Нет, не берем». Сведущие люди говорили, что в этом коротком промежутке было какое-то... то ли комсомольское заседание верхушечное, то ли простокто-то из комсомольцев на бумаге или на языке принес на меня клеюзу, что я нехорош.

П. К.: То есть неизвестно, кто это был?

Н. К.: Говорили... одни говорили, что это Гога Анджапаридзе, другие... покойный, прости ему, Господи, не только это, если на нем это числится, но и многое другое, другие говорили, что это некто, и до сих пор живущий, но... безумный человек, сотрудник теперь, давно уже, сотрудник Института мировой литературы, по-моему, ничего, так сказать, серьезного не сделавший, но безумный, Сережа Небольсин. Но и тот, и другой потом всякий раз при встрече со мной раскрывали объятия, охотно трещали.

С Сережей Небольсиным я встречался редко, с Гогой приходилось встречаться, но я его избегал. Во-первых, вообще избегал... на первом-втором курсе мы были, так сказать, в полуприятельских даже отношениях, поскольку он старался поддерживать отношения с тем кругом, с которым я явился в университет и который вокруг меня создался, то ли потому что сам интересовался... Но оказалось, что он приятель Ксении Атаровой, еще чего-то, и мне всегда с ним было неприятно, хотя, конечно, внешне приходилось... «А, ну да, Гога!..» — шутливо. Но я старался это минимизировать.

Вот, по разным слухам, кто-то из них взял и на Кочубея прислал то ли бумагу, то ли так доложил, и Роман Михайлович решил меня не брать, как некий Грибов, царствие ему небесное, тоже странный человек, которого я знал со времен дискуссии об абстрактном искусстве на выставке во время Молодежного фестиваля. Потом оказалось (он был на курс или на два старше меня), потом оказалось, что он, видимо, был и на фестивале уже, так сказать, «тихарь».

П. К.: Ходило такое слово?

Н. К.: Да. Но в университете уже нет, но, кажется, в 30-е годы — в 40-е это было нормальное слово: человек, который живет как бы ничего... Вот. Он работал переводчиком в Сирии, что выдавало соответствующее... Но больше в кругу художников никогда... Так сказать, поякшавшись, чтоб не сказать потусовавшись в 56-м — 7-м — 8-м, он оттуда вышел. Вот. И, по-моему, он мне говорил: «Коль, ты понимаешь...» поскольку в университете или после университета мы где-то с ним... а может Коля Чукаев: «Понимаешь, ведь дверь в науку закрыта животом Романа Михайловича, но иногда он отворачивается — и тут надо проскочить» (*Усмехается*). Я этого момента не уловил, и в науку я так и не попал.

П. К.: В университетскую?

Н. К.: Да и не в какой.



Потому что диссертаций я решил не защищать никаких. Раза два или три я даже начинал это, но всякий раз мне уже это было, как снобу, неприятно.

То ли надо честно сдавать экзамены, как Зара Григорьевна, царствие ей небесное, говорила: «Вы нас, Коленька, поймите: у нас если экзамены, то... Один раз и навсегда мы всей кафедрой договорились, что никаких поблажек». Я не кончал русского отделения, и половину романов Тургенева я просто не читал и еще чего-нибудь... Можно было подготовится, конечно, но я подумал, как и обо всех трудностях жизни: «Я лучше займусь своими делами». Мне предлагали, потом уже, когда я во ВГБИЛе работал, я даже сдал кандидатский минимум, но тоже что-то не дошло, какие-то... гораздо интереснее сделать это, чем писать. А уж когда я в ИМЛИ был и было время лихое, мне дирекция вся говорила: «Николай Всеволодович, ну, мы вам по докладу сделаем докторскую сразу», — поскольку я знаю, что я доктор (*усмехается*), но мне было не до этого: то надо было поехать куда-нибудь, в Италию лекции читать, то еще чего-нибудь... то надо было какую-то публикацию делать... И я плюнул. Так я до сих пор свободный человек, без степеней, не член Союза писателей, я никогда не был, не подавал даже.

П. К.: Зато искусствовед.

Н. К.: Да (*усмехается*), зато искусствовед.

П. К.: Так что не отвертись от парторганизации.

Н. К.: Многообразный я специалист. Про что я только ни писал! И всё приличные вещи. Про Шагала очень хорошие статьи, про... этого самого... ну, в общем, по искусствоведению хорошие статьи, хотя хороших-то всего три, но хорошие... про Вячеслава Иванова хорошие статьи, про Владимира Соловьева хорошие работы, и про Блока хорошие работы, и про Белого хорошие работы... но не ценят, нет, не ценят!

## О романо-германском отделении филфака

П. К.: Расскажи... то есть, подожди, ты в Баку тогда был один раз, в 63-м году?

Н. К.: Да.

Н. К.: Ты там занимался... ты там собрал все по Иванову, для той статьи 68-го в Тарту. И там же тогда встретился с Мокавельскими?

Н. К.: Да, встречался.

П. К.: Расскажи, как тебе пришло в голову заниматься Ивановым, когда ты приехал в Баку или до этого?

Н. К.: Нет, последнее, что я скажу про университет.

П. К.: Значит, об Иванове не будем сегодня?

Н. К.: Я расскажу про Баку, а про Вячеслава Иванова не буду.

П. К.: Час двадцать всего прошло.

Н. К.: Во! Я не застал в университете на романо-германском отделении ни одной значимой в науке фигуры. На русском отделении, которое я не посещал, мне не приходило как-то в голову, были, только на вечернем: ну, вот преподавал Милютинский, к которому и пошел Сережа Неклюдов сразу.

П. К.: Сережа учился на вечернем?

Н. К.: Да. Никакой ни Аверинцев, ни Гаспаров не задержались в университете, ни Саша Михайлов — никто из ярких учеников в университете не задержались.



**Университет выталкивал всякую яркость, гасил, то есть погасить не сумели, но и не помогал светить.**

Может быть, иначе несколько состояла проблема на русском отделении, где Борис Андреевич Успенский на какое-то время зацепился, где покойный Витя Живов был профессор или доцент, не знаю, на чем он оттуда ушел, какие-то там... особенно среди лингвистов были, но и то все это угасало. Университет гасил сам себя, отбирались посредственности.

Говорят, что был небесталанный человек Пospelов по теории литературы, был потом уже, из моего поколения Гога Косиков, на теории литературы, но все это должно было быть ни в коем случае не ярким. То, что считалось интересным, там, скажем, Андреев, отец очень хорошего итальяниста Михаила Андреева, но это было скорее какое-то красноречие в рамках очень дозволенного, без всякого риска перейти к не очень дозволенному. Ну, что-то он, я помню по пропедевтике, по-моему, по иностранной литературе говорил: «Да, вот есть литература, экзистенциалистская проза...», — еще что-то, но все это было не про нее, а про то, что лучше бы ее не было. Вот. Тем более филологический.

Ты вот спросишь: «Дедушка, а где ж ты все-таки чему-то научился?» Решающее влияние на меня как филолога оказало чтение, когда я провансалистикой занимался, Д'Арко Сильвио... только что выскочило из головы... вот склероз... Д'Арко Сильвио... может, потом вспомнится, замечательный филолог, замечательный... Прежде всего его книжка именно о рукописных свидетельствах, рукописных источниках по провансальским трубадурам, именно не просто как тексты-тексты-тексты, а как неким связанным каждый раз произведениям, на которых... на традициях которых построена «Новая жизнь» Данте, то есть стихи... я про это писал курсовую, хорошая курсовая была... а нет, это уже Данте в «Новой жизни», я про это писал уже не просто филологически, а то, про что Д'Арко Сильвио Авалле, замечательный филолог. Левинтон потом с ним был знаком, поскольку его жена была дружна с его женой. Ну, он был предыдущего поколения. И дело в том, что то, на что он не обращал внимания, это был уже, по сути дела, в сущности, символ поэта нового времени. Жизнь... Начиналось все с того, что, вот, он жил тогда-то, там-то, там-то, тем-то занимался, потом стихотворение с комментарием, смысл этого стихотворения, и кончалось. Но в некоторых случаях, что я и отметил, доходило до абсолютной редукции до структуры: имярек жил, пел песни о любви и умер. Всё! Это романтический поэт. (*Усмехается.*) Ну вот. И это сделало из меня филолога.



Николай Котрелев. Источник: nvkotrelev.ru

Другое, все остальное было где-то в воздухе, в каких-то чтениях академических собраний сочинений. Главное в этом деле — выполнять флотскую команду: «делай как я!» — желание сделать так, как это хорошо сделано. В изданиях Данте, которых хороших не было, но были очень пестрые, хорошие всякий раз для своего времени и так далее. Я их множество перечитал. Я прочел все издания «Новой жизни», которые нужно было прочесть для моей работы, потому что их во много раз больше, разумеется, чем я мог даже в московских библиотеках и найти... Нужны были те ответственные издания, в основном все-таки конца XIX — начала XX века, которые и определяли возможность интерпретации текста. Вот.

Но в этом смысле, наверное, у Гудзия можно было еще чему-то научиться, но это все русское отделение. Романо-германское отделение филологии не учило. Там неплохо учили языкам на языковых кафедрах, наверное, неплохо, но, кажется, всегда все равно считалось, что более совершенную языковую подготовку иняз дает. Но языковая подготовка как таковая меня не интересовала. Когда в первый мой заход... Вот со мной начинал итальянский учить некто Саша Попов-Рогов, вот у него была задача... Он тогда даже и в лингафонный кабинет ходил, который уже был на филфаке, чтобы его... Он из кадетского училища, из Суворовского училища, принес очень хороший французский язык, и вообще со мной на первый курс поступило, наверное самое большое, что я могу упомянуть, поскольку остальных не знаю, но из Суворовских училищ был Валера Фатеев, сегодня лучший... Ну вот, один из лучших и главных специалистов по Розанову, по Пришвину, по этой традиции. Из Суворовского училища пришел Володя Красавцев (он был моложе меня) на английскую кафедру.

Так вот, Попов-Рогов, для него главное было сначала говорить по-французски так, чтобы он не отличался от французов, то есть какая-то шпионская установка, а потом то же самое по-португальски, он перешел, итальянский он бросил, почему-то ему оказалось неинтересно, он перешел на португальский и в какие-то годы работал диктором на португальском радио здесь, в Москве. Но спился совсем, по-настоящему. А поскольку может быть алкоголик поэт, писатель, даже литературовед, но у него не было ничего, кроме желания и умения говорить по-португальски... Вот.

Из интересных людей рано умерший Витя Зотов. Он служил в армии, в той части, которая стреляла в Венгрии, и очень это переживал, никак не мог распрощаться с этим ужасом. При этом не было ужаса перед какой-то политической, а вот перед людьми. С другой стороны, другой ветеран венгерских событий (сейчас выскочило из ума), он потом тоже был замдекана, этот наоборот, пошел вверх, в замдекана. А на первом курсе были отношения простые. Ну вот.

Архипов Юра, он был из Киева, но он был ватерполист, у него такая растяжка была, что, когда мы в пристеночек играли, он всегда выигрывал.

**П. К.:** Пристеночек?

**Н. К.:** Да. Монетку об стену ребрышком раз — она летит, падает, следующий старается лечь поближе, чтобы рукой так дотянуться растопыренной, и тогда монетка — его. И по очереди такую... немножко... немного, не то, что... но иногда с ним прямо в университетском дворе, который иные называли психодромом.

**П. К.:** Почему?

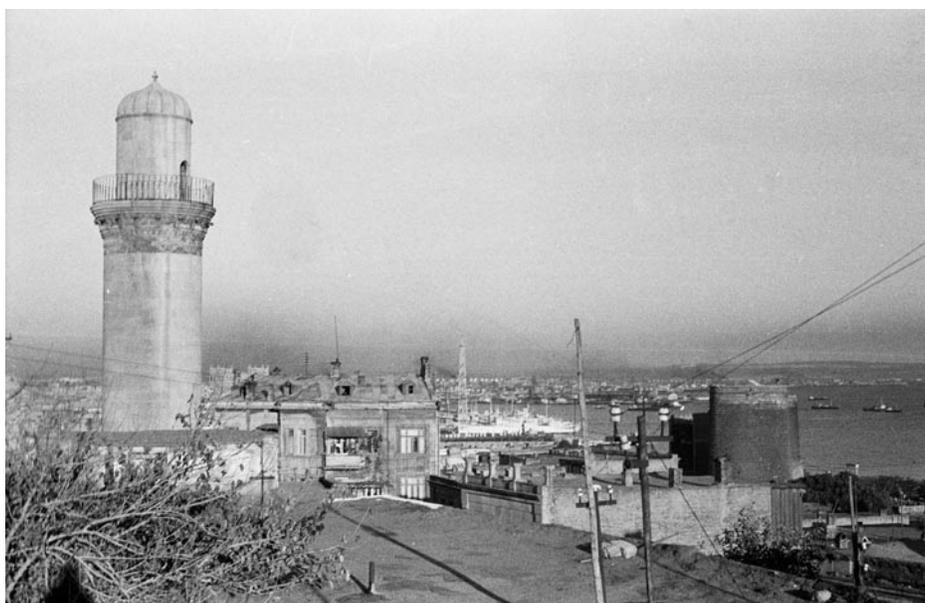
**Н. К.:** Да потому что одни психи или, может, оттого что там с ума сойдешь. Психодром был в старом здании, вокруг николаевского, вокруг Ломоносова как-то не толпились, может, потому, что там журфаковцы... в общем, не наша публика. А здесь вечно торчали, разумеется, в хорошую погоду, филфак, который был слева... Да и журфак был слева тоже, второй этаж был журфак, а филфак был... но у них еще и помещения там были... а филфак был третий и четвертый этажи. Истфак приходил сквозь дырку под зданием, где был вход в столовую, и ИВЯ — Институт восточных языков, который был в правой части. Так что тут все это смешивалось, были девочки, мальчики. Заходили просто всякие любители или выгнанные из университета, или просто так любящие, любящие, или с кем-то такое нужно было встретиться, в общем это было веселое место. Как теперь, не знаю — не хожу.

## Работа в Баку

**П. К.:** Расскажи про Баку.

**Н. К.:** Про Баку? Что бы еще вспомнить про филфак? Ну, ничего я тебе больше про филфак не буду рассказывать.

Баку. Когда я недавно смотрел какой-то глянцевоый журнал про Баку, от того Баку, который я застал, не осталось ни-че-го. Но то, что я застал, наверняка там, скажем, Вячеславу Иванову показалось бы, что ничего на месте... хотя большинство домов еще стояло. Баку в центре не разрушен был, что-то где-то такое... может, где-то были вкрапления, которые я даже не помню, но остальное все стояло более-менее так, как во времена Вячеслава Иванова. А расстраивался он хрущевскими домами туда...



В. Халтурин. Баку. 1963. Источник: azerhistory.com

**П. К.:** На зады.

**Н. К.:** На зады и в пустые места. Общежитие Института усовершенствования врачей, где мне была выделена комната, было в Первом микрорайоне, и это здание было последним, за ним начиналась какая-то пустыня. Сперва я поселился даже в классическом бакинском или южного города месте, прямо на набережной, потом меня туда переселили, может, через неделю—две, то ли там помещения не было, ну, в общем, по каким-то причинам, я жил тоже в принадлежащем минздраву Азербайджанской ССР, прямо на... как он?.. Приморский бульвар что ли назывался или Набережная, прямо у моря. В этом море купаться было нельзя, потому что нефть, рядом были видны вышки, тут их не было, но нефть черной каймой лежала на камнях, которые спускались... Но улица была, набережная была чистая, по ней было несколько кафе. Большие кафе, более дорогие, были где-то в глубине туда, но тоже еще в городе XIX — XX века, а здесь была чайхана, в которую я очень любил ходить, другая чайхана. Чай в Баку был великолепный, великолепный, горячий, крепкий и в то же время не горечная крепость, а вот ощущение, что ты пьешь.

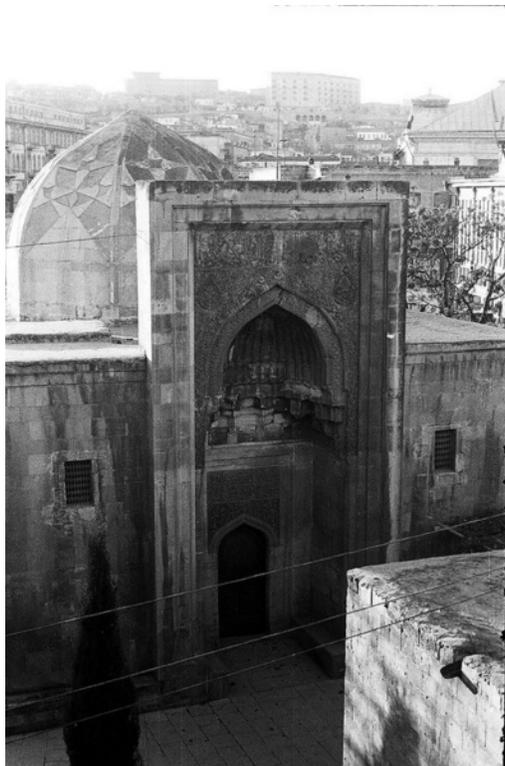


**Официант, подавальщик, носил... На каждом пальце у него было блюдце, на каждом блюдце был чайный стакан, значит, пять или четыре, на них еще блюдце — пирамида, увенчивалось это одним стаканом, и это все был кипяток.**

А поскольку стоял огромный газовый самовар, и он наливал... при тебе, не откуда нести, в пяти метрах от тебя, кипяток в сто градусов, и вот над тобой несут — и ничего. *(Усмехается.)*

Аксакалам подавали в армудах, то есть такие с талией стаканчики и непременно, разумеется, сахара кусочек, менее

почтенным людям, к которым относился и я, подавали просто чайные стаканы. Армуды, видимо, были дороже и труднее находимы на рынке. Но сахар — кусочками, чтобы в накладку, — это какие-то варвары пьют чай в накладку, надо было попросить. Я никогда не просил. Ну, вот, и там сидели люди, приходили другие, молодежь сидела бездельная, мальчишки. Вот. На мое счастье, или к моему удовольствию, в отдельную строительную роту из закаспийских... из Ашхабада перевели Леонида Сергеевича Муравьева, и его казарма была, ну, может, в километре от моего общежития. И поскольку он говорил, что в пять часов лейтенант или капитан чистит сапоги и уходит до утра, вся отдельно строительная рота (было бы куда пойти) расходилась.



В. Халтурин. Баку. 1963. Источник: azerhistory.com

Поэтому мы с Леонидом Сергеевичем Муравьевым до (а это был его последний год службы в армии) до самого дембеля, мы ежедневно ужинали у меня. То есть сперва мы, естественно, пошли поужинать в ресторан, на горе, там памятник Кирову и вокруг какие-то чахлые посадки. Кончилось это ночевкой в чахлых посадках, естественно, — мы не виделись два с половиной года, но... Я-то ничего, был покрепче, так сказать, не телом, а желудком, телом Леонид был крепче меня, разумеется, тем более солдатскую службу прошел, но после того, как мы раза два или три выпили бакинской водки, после которой, или во время которой керосином от тебя отрыжка шла, мы водку перестали пить. (*Смеются.*) А если чего-то пили, поскольку у меня был замечательный заработок, то коньяк и азербайджанское вино: аг суфре, то есть белое столовое или... иногда кямширин, ну, это полусладкое такое вино, ну, медреселе, как бы это от «медресе» — это учение в школе (*усмехается*), что-то в роде этого, по-видимому.

**П. К.:** Для лучших занятий.

**Н. К.:** Это было наилучшее занятие. Он в это время был влюблен в Леонардо да Винчи, поэтому всегда нам было о чем поговорить. Я ему чего-то тоже читал, в общем, разговаривали. Иногда гуляли, пока была погода хорошая. Как-то раз... там был ханский дворец в собственно уже старом городе, это какая-то сараюшка, над ней инжир, так мы весь инжир съели, ханский инжир, крупный, замечательный. А поскольку он жил в Ашхабаде, то он знал, что если много.... инжир — он вяжет рот, оскомины быстро наступают, он говорит: «Сразу не ешь», — но мы ели. Вот.



В. Халтурин. Баку. 1963. Источник: azerhistory.com

Места были... Лучший... поскольку я сам готовить не мог, особенно пока я... да нет, я никогда сам не готовил ничего, кроме чая, а питался в столовых каких-то или кафе. В богатые рестораны не ходил, хотя зарплата у меня была великолепная, я больше никогда в своей жизни, по крайней мере, советской, не получал. У меня нагрузка была: одна неделя — два часа, день свободен — четыре часа, день свободен — и два часа. Это восемь часов. А в другую неделю, значит: четыре, два, четыре — десять. Восемнадцать часов в две недели вместо пяти восемь — сорока, а зарплата у меня была сто восемьдесят с лишним рублей, по тем временам...

П. К.: Да, жила молодежь!

Н. К.: Да, можно было жить, но... То есть такой зарплатой я уже потом при советской власти никогда не получал. Думаю, что даже если... то есть если перечислить на... Ну, оставалось огромное количество времени, поскольку я через день работал... то есть два дня вообще я не ходил никуда, а если два часа идешь переводить...

” Иногда это было тяжело, потому что, скажем, войти в палату, где лежали обожженные на нефтяном пожаре, это было тяжело.

Я не мог там находиться, я стоял у притолоки, вдыхал из коридора, как уж эти сомалийские люди терпели, не знаю, но это гниющее... там в палате лежало человек три — четыре — пять, не знаю, и они гнили, там были все смазаны воском, еще чего-то, но... Эти самые сомалийские люди были самые простецкие люди, ничего не понимавшие, тихие, видимо, каким-то образом испуганные, у них была какая-то своя... За ними, естественно, была, и значит за нами тоже, пристальная слежка. Может, в Москве бы такой и не было: ну, что там, какие-то сомалийские студенты действительно дикие! Но в Баку иностранные люди, двадцать человек, того гляди, взорвут чего-нибудь. Эти были малограмотные совсем, почему они оказались средним медицинским персоналом, понять было нельзя, но некто Писман (почему-то оба человека, которые к нам были специально приставлены, были евреи), Леня Писман, если он был Леня, не помню... нет, кажется... Он неизвестно, что он делал, может, был организатором, числился, при сомалийской группе, но потом вдруг оказалось, что он журналист и он даже захотел со мной про Вячеслава Иванова в газете написать, в «Вечерний Баку», невозможно было отказаться, уже когда я в Москве был, он весело сказал: «Ну я ж за вами следил». А Яша, который другой, тот был даже не просто еврей, а тат, то есть горский еврей, он числился вроде бы как бы переводчиком итальянского языка, но он язык знал хуже, чем сомалийские люди, которые языка не знали. Ну, был такой очень колоритный тат, таких уже, так сказать, в Москве, было невозможно увидеть людей: в широченных штанах, в двубортном пиджаке заношенном, со специальной физиономией. Вот.



В. Халтурин. Баку. 1963. Источник: azerhistory.com

Наилучший суп пити, который я поел в Баку, был на Таза-базаре. Таза-базар — это, так сказать, главный базар был, но это был дикий базар, дикий совершенно, и пити подавали в какой-то стеклянно-алюминиевой штучке, в которой... стояло два стола, грязища была чудовищная, но пити было великолепно.

Тогда же я впервые столкнулся с продовольственной проблемой в СССР. Вдруг оказалось, что в Баку нет белого хлеба, вот невозможно купить. При этом я не наладил никаких отношений, в общем, сколько-нибудь близких, с азербайджанскими домами, но войдя или в окошко видя азербайджанский дом, там традиционно на столе стояла куча белого хлеба, то есть это всё...

**П. К.:** Хлеб белый или лепешки?

**Н. К.:** Хлеб и лепешки, там было все, но в магазинах лепешек я никогда не видел, а давали булки и батоны. Мне выписали, поскольку у меня начались какие-то проблемы, не буду уточнять, с желудком, мне, поскольку это минздрав, выписали одну булочку в день. В это время произошел именно хлебный бунт в Сунгаите, с разгромом милиции...

**П. К.:** Я не знаю, что это.

**Н. К.:** Ну а что знать-то, всего не узнаешь. Например, много ли ты знаешь, что после хрущевской речи на XX съезде, в Тбилиси до стрельбы...

**П. К.:** А, это я знаю, это мне рассказывал Арутюнов.

**Н. К.:** Да.

**П. К.:** Он был там в это время и видел, как мальчишек солдаты стреляли как бы наверх, но там наверху оказались маленькие дети на деревьях, которых...

**Н. К.:** Стреляли и по людям, количество жертв до сих пор не установлено, но грузины не хотели сдавать товарища Сталина, никак — и были правы, наверно. Их товарищ Сталин.

**П. К.:** Не наш же.

**Н. К.:** Вот. Но и наш тоже.

**П. К.:** Ваш особенно.

**Н. К.:** Да. Сталин, наверное, был существо достаточно гнусное, но его период... ну, что ж, так вот жили, скажем, если у меня сегодня рак, а мне его завтра вылечат — я же от этого не меняюсь. Это я, а не... Соломон Пафнутич... Вот, это моя, моя страна, моя жизнь. Вот.



## А усатый — ну, усатый, страшный человек, паскудный, но...

Тем не менее, значит, в Баку лекции читали самые суммарные. Чему они их научили, не знаю, потому что не было практических занятий по наложению шин, бинтованию, чем занимаются эти самые... Ну, общая история болезни, еще что-то такое, по ходу все время... Чего я только не видел: внематочную беременность смотрел один раз, но, правда, с амфитеатра медицинского, старушку, умирающую от столбняка, уже в последнем состоянии, еще чего-то такое видел. Характерный тоже эпизод. Я жил в общежитии Института усовершенствования врачей... Если вам интересны подробности быта... Со всего Советского Союза съехавшиеся врачи, ну, человек, может, пятьдесят, сто даже, народишко был самый разный: были какие-то бабешки, приехавшие специально за развлечениями известного рода, которые тут же сошлись с азербайджанскими слушателями, еще что-то, были, естественно, каждый вечер танцы, были некоторые люди, которым это было до лампочки, но вот они приехали — и живут. Сибиряк там был один, который пельмени делал чудно...

Было интересно наблюдать азербайджанцев, которые сохраняли нам, мне во всяком случае, непонятную структуру своего общества. Был один человек из провинциальных врачей каких-то азербайджанских, к которому все относились подобострастно. Он не был членом ЦК КПСС, вообще не из Баку был, откуда-то оттуда, откуда... а они все из разных мест... то ли он был князь, то ли он был мафиози. Но он и держался совершенно иначе, и ходил в пыльнике белом, в которых уже никто не ходил, посадка головы, и всё — и полное подобострастие, готовность прислужить, дверь открыть, еще что-то такое. На чем это строилось — не знаю. Леонид Сергеевич как-то сказал: «Коль, только ты смотри, за девушками не ухаживай азербайджанскими и не провожай — зарежут». (*Смеется.*) Вот. Но он жил в Ашхабаде, он знал нравы тамошней мусульманской жизни. Но я и не провожал, честно скажу. Вот.

Кормежка в ресторанах, кафе была ничего, симпатичная, кавказские блюда я до этого времени более-менее знал. Это было вкусно, не очень здорово, потому что животом-то я все-таки занедежил. Я потом тебе скажу как внуку, но будущим злопыхателям и безразличным людям я...

**П. К.:** Оставим без комментария.

**Н. К.:** Да. (*Смеется.*) Вот. Но, естественно, про сунгайтскую заварушку в газетах никаких там не писали, ничего, и... Ты спрашиваешь, как я занялся Вячеславом Ивановым.

**П. К.:** Да, ты приехал в Баку с головой, в которой находился Вячеслав Иванов, или нет?

**Н. К.:** В голове моей, как всегда, ты вот на собственном опыте имеешь убедиться, много диких мыслей все время <нрзб>. Но ехал я... Главное, что у меня в голове вертелось, это Хлебников, и я мог, поскольку я не знал тогда Парниса, а Парнис уже...

**П. К.:** Навострился.

**Н. К.:** Парнис уже про Баку все знал, и я мог оказаться его или успешным или безуспешным конкурентом. Но первые там, может быть даже и не три недели, а месяц я ничего такого не делал, не предпринимал, и вдруг меня осенило: а что Хлебников?.. Почему-то Хлебников из головы вышел, и туда вселился Вячеслав Иванов, которого, честно сказать, я почти не читал до этого.

**П. К.:** Но при этом знал, что он был в Баку.

**Н. К.:** Я знал, что он был в Баку, я знал, что он был такой-то и такой-то, но меня отчасти интересовал Блок, поразил Ходасевич, но Вячеслав Иванов еще не присутствовал реально в моей голове. Но тут меня как-то осенило: «Займись, Николай Всеволодович, Вячеславом Ивановым». Я сидел в кафе, читал Лосева «История античной эстетики», Кроче, еще что-то такое читал, все это без всякого серьезного направления.

Ну да, попробуем. Кажется, я выписал себе отношение в Архивы министерства среднего образования или... в общем, в конторе, которая меня пригласила, и пошел, естественно, в Бакинский университет. Говорю: «Где у вас тут архив?» Мне показали. Я вошел. И оказалось, что какой-то ангар, они были, кажется, в состоянии переезда, никаких даже столов не было, по-моему, ничего не было, земляной какой-то пол, в общем, странно... Я говорю: «Вот, а мне бы документы университетские за 20-й год, 21-й, 22-й, 24-й». — «А, это вон там, кажется еще...» Указали. Я всю кучку пересмотрел, поэтому я не исключаю, что они все-таки успели чего-то в этот момент перевезти, и мечтаю, вот уже пятьдесят... сколько лет, даже очень просился у азербайджанского богатого правительства меня пригласить за... У меня статей пять по Вячеславу Иванову в Баку, кроме той, первой. Обещали. Посол обещал... И вот восточная хитрость, под тем же полумесяцем, до месяца не доходит, восторженно: «Да что вы, Николай-оглы» Оглоеды они, вот.

Я прочел все, что там нашлось. Естественно, надо было наверняка выписывать что-то рядом, но я еще был... только-только в ЦГАЛИ начал ходить, тут и кончилось... Я занимался там дантистикой... А, я так и не рассказал про судьбу своих вот... Сейчас про Баку кончу и доскажу про РГАЛИ, не дай мне забыть, потому что, Петь, работать надо. Вот. Ну, после этого я пошел в ЦГАОР Азербайджанской ССР, Центральный государственный архив Октябрьской революции (кажется, потом прибавили во все эти названия «и социалистического строительства») (*усмехается*) Азербайджанской ССР, где документов набралось достаточно много, интересно.

Я попытался пойти еще почитать бакинские газеты в Национальную библиотеку. Оказалось, что там ни фига нет, в Архиве их было больше, поэтому я в ЦГАОРе читал и газеты, но и те комплекты были с дырками, а потом у меня уже шило засвербило (рифма) ехать в Москву, и я не дочитал те недокомплекты газет, которые были, и поэтому дырки... и пока я не дочитаю газет, я не буду печатать книжку «Вячеслав Иванов в Баку», а книжка более-менее готова. Вот.

**П. К.:** Поехали!

**Н. К.:** Поехали. Я боюсь ехать.

П. К.: Чего бояться? Посол вспомнит, что ты не приехал по приглашению?

Н. К.: Посол бы... Он так высоко с гуриями...

П. К.: Чего бояться?

Н. К.: Я могу сесть на самолет, хотя и дорого, но я готов был бы заплатить, но мне нужно около месяца жить. И вот где и за какие деньги я могу снять, мне не на один день, а на месяц, снять комнату или квартиру? Я готов был бы, ну, даже за тридцать... евро по пятьдесят заплатить, в сутки, но я должен быть уверен, что, возвращаясь вечером, я, даже не провозжая азербайджанских девушек, я не получу нож в живот или просто так по морде крепко. Мне нужна гарантия. А этой гарантии мне может дать только или посол... ну, в крайнем случае, Бакинский университет. Ну, и они финтят, вот. «А, мы его ждем!» Третий год ждут. А именно проблема, и только, в жилье. Честно говоря, ну ладно, я бы полторы тысячи за жилье отдал за месяц, больше не хотелось бы, но...

П. К.: В Москве можно за полторы тысячи евро в месяц такую квартиру снять, что...

Н. К.: Баку богатый город, судя по картинкам...

П. К.: Ну, картинки картинками, а люди я не думаю, что там там живут так, что они бояться выходить из дома, как ты сейчас обрисовал, если их не сопровождать.

Н. К.: Азербайджанские не боятся.

П. К.: Туристы живут...

Н. К.: А как живут русские? Думаю, что туристов мало.

П. К.: Ну, не думаю, что мало.

Н. К.: Русские живут, армяне не живут. Но, может, и решусь. Неважно.

П. К.: Ладно, расскажи, ты читал, не дочитал... Когда появились и как Маковельские?

Н. К.: Я стал уже думать: но ведь должны же быть люди, от Вячеслава Иванова остаться какие-то? Каким образом... Во-первых, я видел фамилии в документах, которые я копировал, или в газетах отчеты о каких-то событиях. Про Маковельского я сообразил, ну, я вижу, что он фигурирует, и сообразил: что-то я такое про него слышал до этого, что он должен быть, а узнать адрес академика Академии азербайджанской, член-коррда Большой московской академии было не трудно. И я пришел. Он сидел в сатиновом халате, тепло, стали меня чем-то угощать, фруктами, тут его дочка... и ничего особенного он мне не рассказал, но что-то рассказал, что-то там у меня отражено в публикации.

Потом были очень хорошие отношения. Они мне прислали копии с писем к ним Вячеслава Иванова, фотокопии, и что-то еще, какие-то бумажки... Живых воспоминаний больших я не получил, но целое стихотворение про защиту Вячеслава, оно как раз в публикации есть, восторги: «О, Вячеслав Иванов, это был человек!» — ну, в общем, достойные, симпатичные, милые люди.

Каким образом я нашел племянницу доцента Тумбеля, ой, я не помню, но нашел. Она была совсем, так сказать, по отношению к профессорскому уровню, уже сходящая на нет, ниже, но тоже встретила очень хорошо. «Ну что вы, Тумбель, его забирали, мы что-то такое говорим, а они нам только: „Я ваш, я ваш, я ваш...“», — чекист. Ну, он так и погиб там. «Да, ну вот тут осталось несколько книжек. Да нет возьмите». Было три... четыре тома, три книжки с надписью «Вячеслав Иванов». Одна у меня стоит на полке до сих пор, это греческих эпических поэтов фрагменты, небольшое такое издание, большой двухтомный словарь, знаменитый словарь латинского языка XIX века Фратичелли, может быть, лучший до каких-нибудь уже словарей XX века, и его я подарил Наташе Старостиной, и Пиндер, французского издания XVII или XVI века, его я подарил Сереже <нрзб>, на них не было маргиналий, если бы были маргиналии, я бы не отдал, скажу честно. Но поскольку так, сугубо мемориальный текст... У меня записаны их выходные данные, так что можно установить, какое издание Пиндера.

Вот. Нашел профессора Лукьянову (по-моему, Лукьянову), опять-таки это у меня в бумагах, ученицу Вячеслава Иванова. Это была профессор, думаю, что как ученая никому за пределами своего профессорства в Баку, не известна, но колоритная тоже фигура. Я вошел и увидел запущенную квартирку (может, однокомнатная, двухкомнатная): круглый обеденный стол, на нем вот, как лазанья, или любой другой слоистый пирог, лежали развернутые книги, на тех местах, которые нужны человеку.

П. К.: Ах, вот, откуда у тебя эта привычка! Бакинская.

Н. К. (*усмехается*): Слов этих было, может, десять, пятнадцать, и было уложено все. Такой же натюрморт являла и кровать,

П. К.: Арчимбольдо!

Н. К.: Арчимбольдо. (*Усмехается*) Нет, это была лазанья из книг, слоеный пирог. Они ничего толкового не могла сказать, кроме того, что «да, училась у Вячеслава Иванова, и он был замечательный». А дальше у меня не хватило соображения. Когда я вернулся... Ну, я был занят, тут и университет, и некогда, и незачем... Главное, что я был туп: я не сообразил, что Гухман, профессор на филфаке немецкого языка, немецкой лингвистики, ученица Вячеслава Иванова.

П. К.: Вот там вот, в Баку или у нас?

Н. К.: И в Баку... то есть в МГУ, на филфаке. К ней можно было как-то подкатиться, что-то спросить, но она не фигурировала в тех списках имен. А так откуда я знаю, что она... Это потом выяснилось, что она ученица Иванова. Можно было ехать и нужно было, ехать в Ленинград, где густота ивановских учеников была гораздо больше. Там жил Альтман, у которого я побыл, но не состоялось какого-то плодотворного... А к Мануйлову я так и не добрался, хотя он ко мне... Ну, по-настоящему, мы мельком выделились, и все откладывалось, откладывалось... И не попал к профессору Колобовой, которая была, может

даже, неплохой профессоршей по античной истории. Про Миллиор в Ижевске я не знал, да и, наверное бы, тоже не выбрался, поэтому... Во мне не было того энтузиазма, который был в Тименчике или Суперфине: ходить по современникам, как они говорили, информантов.

П. К.: А к кому они ходили?

Н. К.: Ну, они ко всем ходили, всех опрашивали, у них множество на этот счет сведений, в основном, об этом... Меньше Чертков, но и Чертков ходил, Чертков был замечательный изыскатель, но он был закрытый в этом смысле, хотя и очень открытый, общительный, но его поиски не были столь... так сказать, маркированы, как тименчиковы: Ахматова, акмеисты, все вокруг... А Чертков разыскивал всегда самые какие-то неизвестные на тот момент... потом постепенно все высветлялось: имена, фамилии, экзотические для поверхностного слоя... Ахматова, Пастернак и так далее... Замечательный изыскатель: «Колька, поедем, тут вот... (какую-то называет деревню, сейчас не помню), там живет (тоже не помню)». Поехали. Дача. Стучали-стучали, собака выбежала, Леню покусала. Кровь потекла. Но никто не вышел. *(Усмехаются.)* Вот такая вот, Петр Тихонович, история.

## Про РГАЛИ

П. К.: Про РГАЛИ.

Н. К.: Таким образом... Одиннадцать часов, а ты — РГАЛИ.

П. К.: Закончим... Сам просил про РГАЛИ напомнить.

Н. К.: А-а-а! Во-во.

П. К.: Что делал.

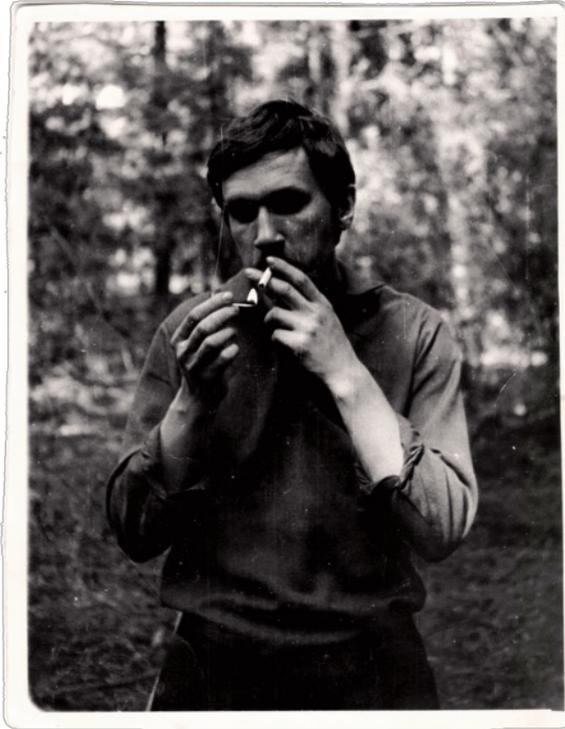
Н. К.: Вообще, впечатление от архивной... Я... Ну, пришел малограмотный щенок... чего я умел? Ну, лет с семнадцати я ходил в библиотеку и выписывал из старых альманахов, преимущественно из альманахов, а не из журналов, стихи Ахматовой, Ходасевича, Гумилева — без особенного разбора, все подряд, что встретишь, то и выписываешь — самоучка. Так и Чертков начинал, и Суперфин... Но Суперфин уже попал сразу в круг людей, занимающихся этим, то есть, значит...

П. К.: А к кому он попал?

Н. К.: «...ланкартачных взаимных обучений». Он попал в разные круги: и лингвистов с Комой Ивановым, с Топоровым, потом тартуские люди, вот... А я все на себе один выносил, вызревал, поэтому гораздо медленнее... И я там подумал, что ж, уже все-таки... Я не помню это отчетливо, но думаю, что сработало, что надо заниматься тем, что имеет какие-то шансы на публикацию, на выход, и пошел читать письма Лозинского к...

П. К.: Переводчика?

Н. К.: Да, Михаил Леонидовича. ...*К (пауза)* Вылетело. *(Л. К. смеется)* вот, болезнь... он был и кадетом, потом, после революции, переметнулся к большевикам, писал предисловия и комментарии к «Божественной комедии» в первом советском... при издании Лозинского... Петюнь, потом вставишь, может, сейчас всплывет. Вот. Письма Лозинского к нему я скопировал, поехав в 62-м году в Ленинград к наследникам, к вдове Лозинского. У меня догадки не хватило, да и денег не было, может, догадка и была, я их скопировал. И дальше, как выше было сказано, бакинская история, все такое, но... Вот написал я диплом о латинских вставках.



Николай Котрелев. 1970. Источник: nvkotrelev.ru

Наступает тысяча девятьсот шестьдесят... юбилей дантовский... Значит, в 21-м году — круглая, а значит... что бы еще приписать?... Со дня рождения... 66-й... 66-й... нет, мы уже с бабушкой жили... Ну, может быть... они с опозданием... с твоей бабушкой мы жили семьей на Вражке, и... Было такое издание, готовился второй или третий выпуск... «Дантовские чтения», которые по благовому, так сказать, начинанию, некоего Игоря Бэлзы, такой советский средней руки божок. Он музыковед, он и литературовед, культурный человек, все знает... Игорь, не помню по отчеству, и Нина Генриховна ему сказала, что вот есть такой Коля Котрелев. И звонит он мне: «Вот Нина Генриховна вас очень рекомендует, не могли бы вы что-то такое...»

**П. К.:** «Что-то такое» что?

**Н. К.:** Дать в печать. И я, значит, говорю: «Вот у меня есть две темы. Одна мне очень дорогая была бы: „Латинские вставки в «Новую жизнь»», а другая — письма Лозинского, переводчика, к... имяреку... Дживелегову! Алексею Карпычу». Видишь, как важно вспомнить. Алексей Карпыч. Такой писавший на итальянские темы, даже что-то переводивший, пустячное совершенно, тем более что ему, при в общем плохой культурной и филологической подготовке, тем более при советской власти уж совсем написать ничего хорошего было нельзя, даже если предположить какие-то жанровые установки, которые не предполагают высокого мастерства, больших знаний... Я говорю: «Но мне бы очень хотелось „Латинские вставки“». Так что это я... Общение с небесами я всегда считал главным. Эта тема уже тогда всегда была основной в моих филологических занятиях, то есть преодоление... тогда, может быть, материализма, советчины, марксизма, по-разному могло формулироваться, но... спиритуализм, грубо скажу, в литературе, в культуре. «Веленью Божию, о муза, будь послушна» — вот это вот веленье Божье увидеть и донести до человека. «Вот, да-да, хорошо, давайте».

И я перепечатал диплом. Он как раз по объему все-таки... или, может, что-то сократил, по объему вполне получалась стандартная публикация советского времени, которая... Один печатный лист, то есть сорок три знаков в словах, в количестве слов не мерили работы, и отнес ему. Он почитал: «Но тут у вас написано: „Плач Иеремии“, но надо было малограмотному читателю сказать, что была еще „Книга Иеремии“» Я говорю: «Ну, мы сейчас поправим». «Да-да, мы поправим. Еще что-то, тут у вас такие-то опечатки, надо начисто перепечатать». А для меня перепечатать — это заплатить большие деньги: десять-пятнадцать копеек страница стоила, а я получал в это время... Катка, я не помню, была уже на руках у нас или нет, но я получал рублей семьдесят, значит, умножаем на двадцать пять страниц, а то и двадцать копеек — получаем пять рублей.

**П. К.:** То есть никаких тебе бакинских излишеств...

**Н. К.:** Уже были недоступны. Я перепечатал, отнес, он читал-читал: «Нет, вы знаете...» А, понятно! Это был 67-й год, про Данте забыли, к советской власти юбилею, «Дантовский сборник» потрясем, что советская власть, мировая культура... Ну, так вот были устроены все вот эти среднего звена... он не был суперначальником, но это вот такие божки мелкие...

Значит, сюжет тебе хорошо знакомый и печальный. Я звоню, он мне говорит: «Вы знаете, мы посмотрели, но да, „Глас Божий“, но ведь мы празднуем семьдесят (или сколько там?) пятьдесят лет советской власти (67-й — пятьдесят) Может быть, нам какую-то другую тему?» Я отчасти сатанею, но говорю: «Хорошо, тогда письма Лозинского к Дживелегову. Он советуется, как переводить комедию, еще что-то такое...» Потому что Дживелегов тоже был такой начальник, а Лозинский был известный переводчик, но не начальник, а замазанный по всем... дружкой с Мандельштамом и с прочими акмеистами.

«Да-да, ну, подготовьте, принесите». А поскольку это у меня уже пять лет лежало, я быстро сконопатил, отнес. «О, да, Николай Всеволодович, вот это хорошо! Это хорошо, пойдет».

Проходит, может, там месяц, два, редакционная подготовка — и вдруг раздается его начальственный звонок, и таким тоном, по-видимому, в котором угадывалась гадость: «Николай Всеволодович, здесь некоторые проблемы у редактора при подготовке, есть вопросы к вам. Встретьтесь с ней, пожалуйста». Я: «Да, куда идти?» Он объясняет. Иду. «Да, Николай Всеволодович!» — сидит немолодая... старушка, но не старушка, Логинова ей фамилия... Ну, положено прощать, прости ей, Господи! «Николай Всеволодович, мы не можем принять вашу публикацию». Нет, чтоб ему сказать, нет, «есть вопросы у редактора». Надо прощать. Прости, Господи! Я говорю: «Почему?» «Ну, как вот, вы видите, он пишет, что он сидит там в эвакуации, голодает, все-таки мы юбилейный сборник». Я говорю: «Но вы понимаете, что это и есть мера героизма: он голодает, но просит не консервы, а просит бумаги прислать для переписывания „Божественной комедии“». — «Вы меня не учите, я сорок лет редактором работаю». Ну что? Я взял бумажки свои и пошел куда глаза глядят.

Но не в этом, Петр Тихонович, так сказать, поучительная часть этого повествования. Прошло, как у Пушкина написано, сто лет, а как по жизни — немножко меньше (*смеется*), но немножко меньше. На дворе... это было, скажем, в 67-м году, а на дворе, скажем, 80-й, 82-й... больше, больше — середина 80-х годов, то есть двадцать лет, я приезжаю в издательство «Наука» то ли какие-то снять именно вопросы технические по одной из своих публикаций. Значит, это или 70-е или семьдесят там какой-то, 75-й год, в блоковских томах «Литературного наследства», это уже в новом помещении издательства «Наука», там, на... как ее, «Беляево» или что-то вроде этого. Сажу, читаю корректуру — и вдруг из-за спины: «Николай Всеволодович, а мы ведь с вами знакомы!» (*Смеются*) Мать честная! Логинова. И ко мне с...

П. К.: С поцелуями.

Н. К.: Ну, не с поцелуями, а во всяком случае, с паточными словами. Я про себя... наверное, потому что корректуру читал и был доволен, сильно не ругался, но все-таки тоскливо, Петр Тихонович. Вот, всё!

П. К.: ...такую большую фигу...

Н. К.: В этом большой фиги нет, но, уважаемый потомок, не скажу, как Маяковский: «роясь в сегодняшнем дерьме...» Какое я тебе «дерьмо»! Я дед Петра Тихоновича. Вот, Петечка, всё!



Николай Котрелев. Источник: nvkotrelev.ru